

«Однажды, силою своей превращая воздух в воду, а воду в кровь и уплотняя в плоть, создал я человеческое существо — мальчика, тем самым сотворив нечто более возвышенное, чем изделие Создателя. Ибо тот создал человека из земли, а я — из воздуха, что много труднее...»

Тут мы поняли, что он (Симон Волхв) говорил о мальчике, которого убил, а душу его взял к себе на службу.

Псевдоклементины
(II век н.э.)

Часть первая

Глава первая

«...И будь ты проклят со всем своим балаганом! Надеюсь, никогда больше тебя не увижу. Довольно, я полжизни провела за ширмой кукольника. И если когда-нибудь, пусть даже случайно, ты возникнешь передо мной...»

Возникну, возникну... Часиков через пять как раз и возникну, моя радость.

Он аккуратно сложил листок, на котором слово «кукольник» преломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний карман куртки и удовлетворенно улыбнулся: все хорошо. Все, можно сказать, превосходно, она выздоравливает...

Взглядом он обвел отсек Пражского аэропорта, где в ожидании посадки едва шевелили плавниками ночные пассажиры, зато горячо вздыхал кофейный змейгорыныч за стойкой бара, с шипением изрыгая в чашки молочную пену, и вновь принялся рассматривать двоих: бабушку и внучку-егозу лет пяти.

Девочка отпрянула. Голос — шипящий свист — раздавался не из бабкиного рта, а откуда-то... Она в панике оглянулась. За ее спиной сидел странный дяденька, похожий на индейца: впалые щеки, орлиный нос, вытянутый подбородок, косичка на воротнике куртки. Самыми странными были глаза: цвета густого тумана. Плотно сжав тонкие губы, он с отсутствующим видом изучал табло над стойкой, машинально постукивая пальцами левой руки по ручке кресла. А там, где должна была быть его правая рука... — ужас!!! — шевелилась, извивалась и поднималась на хвосте змея!

И она шипела человеческим голосом!!!

Змея медленно выростала из правого, засученного по локоть рукава его куртки, покачивая плоской головой, мигая глазом и выбрасывая жало...

«Он сделал ее из руки!» — поняла девочка, взвизгнула, подпрыгнула и окаменела, не сводя глаз с этой резиново-гибкой, бескостной руки... В окошке, свернутом из указательного и большого пальцев, трепетал мизинец, становясь то моргающим глазом, то мелькающим жалом. А главное, змея говорила сама, сама — дядька молчал, чесслово, молчал! — и рот у него был сжат, как у сурового индейца из американских фильмов.

— Ищо! — хрипло приказала девочка, не сводя глаз со змеи.

Тогда змея опала, стяхнулась с руки, раскрылась большая ладонь с длинными пальцами, мгновенно и неуловимо сложившись в кролика.

— Номи, задира! — пропищал кролик, шевеля ушами и прыгая по острому колену перекинутой дядькиной ноги. — Ты не одна умеешь так скакать!

На этот раз девочка впиалась глазами в сжатый рот индейца. Плевать на кролика, но откуда голос идет? Разве так бывает?!

— Ищо! — умоляюще вскрикнула она.

10 Дядька сбросил кролика под сиденье кресла, раскатал рукав куртки и проговорил нормальным глуховатым голосом:

— Хорош... будь с тебя. Вон уже рейс объявили, растолкай бабу.

И пока пассажиры протискивались мимо бело-синих приталенных стюардесс, запихивали сумки в багажные ящики и пристегивали ремни в своих креслах, девочка все тянула шею, пытаясь глазами отыскать чудного индейца с косичкой и такой восхитительной волшебной рукой, умеющей говорить на разные голоса...

А он уселся у окна, завернулся в тонкий плед и мгновенно уснул, еще до того, как самолет разогнался и взмыл, — он всегда засыпал в полете. Эпизод со змеей и кроликом был всего лишь возможностью проверить на свежем зрителе некую идею.

Он никогда не заискивал перед детьми и вообще мало обращал на них внимания. В своей жизни он любил только одного ребенка — ту, уже взрослую девочку, что выздоравливала сейчас в иерусалимской клинике. Именно в состоянии начальной ремиссии она имела обыкновение строчить ему гневные *окончательные* письма.

* * *

Привычно минуя гулкую толкотню зала прибытия, он выбрался наружу, в царство шершавого белого камня, все обнявшего — все, кроме разве что неба, вокруг обставшего: стены, ступени, тротуары, бордюры вокруг волосато-лакированных стволов могучих пальм — в шумливую теплынь приморской полосы.

Всегда неожиданным — особенно после сирых европейских небес — был именно этот горячий свет, эти синие ломти спящего неба меж бетонными перекрытиями огромного нового терминала.

Водитель первой из вереницы маршруток на Иерусалим что-то крикнул ему, кивнув туда, где, оттопырив фалды задних дверец, стоял белый мини-автобус в ожидании багажа пассажиров. Но он лишь молча поднял ладонь: не сейчас, друг.

Выйдя на открытое пространство, откуда просматривались хвосты самолетов, гривки взъерошенных пальм и дельфиньи взмывы автострад, он достал из кармана куртки мобильный телефон, футляр с очками и клочок важнейшей бумаги. Нацепив на орлиный нос круглую металлическую оправу, что сразу придало его облику нарочитое сходство с каким-то кукольным персонажем, он ребром ногтя натыкал на клавиатуре номер с бумажки и замер с припаянным к уху мобильником, хищно вытянув подбородок, устремив бледно-серые, неизвестно кого и о чем умоляющие глаза в неразличимую отсюда инстанцию...

...где возникли и томительно поплыли гудки...

Теперь надо внимательно читать записанные русскими буквами смешные слова, не споткнуться бы. Ага: вот кудрявый женский голосок, служебное сочетание безразличия с предупредительностью.

— *Бокер тов!* — старательно прочитал он по бумажке, щурясь. — *Левакеш доктор Горелик, бвакаша!*...

Голос приветливо обронил картавое словцо и отпал. Ну и язык: *бок в каше, рыгал Кеша, ква-ква...*

Что ж он там телепается-то, господи!.. Наконец трубку взяли.

— Борька, я тут... — глухо проговорил он: мобильник у виска, локоть отставлен — банкрот в ожидании

1 Доброе утро! Попросить доктора Горелика, пожалуйста (*иврит*).

12 последней вести, после которой спускают курок. И — горло захлестнуло, закашлялся...

Тот молчал, выжидая. Ну да, недоволен доктор Горелик, недоволен. И предупреждал... А иди ты к черту!

— Рановато, — буркнул знакомый до печенок голос.

— Не могу больше, — отозвался он. — Нет сил.

Оба умолкли. Доктор вздохнул и повторил, словно бы размышляя:

— Ранова-а-то... — и спохватился: — Ладно. Чего уж сейчас-то... Поезжай ко мне, ключ — где обычно. Пошуруй насчет жратвы, а я вернусь ближе к вечеру, и мы все обмозгу..

— Нет! — раздраженно перебил тот. — Я сейчас же еду за ней!

Сердце спотыкалось каждые два-три шага, словно бы нащупывая, куда ступить, и тяжело, с оттяжкой било в оба виска.

— Подготовь ее к выписке, пожалуйста.

...Маршрутка на крутом повороте слегка накренилась, на две-три секунды пугающе замешкалась над кипарисовыми пиками лесистого ущелья и стала взбираться все выше, в Иерусалимские горы. День сегодня выходил мглисто-солнечным, голубым, акварельным. На дальних холмах разлилось кисельное опаловое озеро, в беспокойном движении которого то обнажался каскад черепичных крыш, то, бликуя окнами, выныривала кукольно-белая группка домов на хвойном темени горы, то разверзалась меж двух туманных склонов извилисто-синяя рана глубокой долины, торопливо затагиваясь таким же длинным жемчужным облаком...

Как обычно, это напомнило ему сахалинские сопки, в окружении которых притулился на берегу Татар-

ского пролива его родной городок Томари, Томариора по-японски. 13

*Так он назвал одну из лучших своих тростевых кукол — **Томариора**: нежное бледное лицо, плавный жест, слишком длинные по отношению к маске, тонкие пальцы и фантастическая подвижность узких черных глаз — за счет игры света при скупых поворотах головы. Хороший номер: розовый дым лепестков облетающей сакуры; изящество и завершенность пластической мысли...*

Вдруг он подумал: вероятно, в этих горах, с их божественной игрой ближних и дальних планов, с их обетованием вечного света, никогда не прискучит жить. Видит ли *она* эти горы из окна своей палаты, или окно выходит на здешнюю белокаменную стену, в какой-нибудь кошачий двор с мусорными баками?..

От автобусной станции он взял такси, также старательно зачитав водителю адрес по бумажке. Никак не мог запомнить ни слова из этого махристого и шершавого и одновременно петлей скользящего языка, хотя Борька уверял, что язык простой, математически логичный. Впрочем, он вообще был не способен к языкам, а те фразы на псевдоиностранных наречиях, что вылетали у него по ходу представлений, были результатом таинственной утробной способности, которую *она* считала *бесовской*.

На проходной пропустили немедленно, лишь только он буркнул имя Бориса, — видимо, тот распорядился.

14 Потом переживал в коридоре, увешанном пеннестыми водопадами и росистыми склонами, на которых произрастали положительные эмоции в виде желто-лиловых ирисов, бурный разговор за дверью кабинета. Внутри, похоже, отчаянно ругались на повышенных тонах, но, когда дверь распахнулась, оттуда вывалились двое в халатах, с улыбками на бородатых разбойничьих лицах. Он опять подумал: ну и ну, вот язык, вот децибелы...

— Я думал, тут драка ... — сказал он, входя в кабинет.

— Да нет, — отозвался блаженно-заплаканный доктор Горелик, поднимаясь из кресла во весь свой кавалергардский рост. — Тут Давид смешную историю рассказывал...

Он опять всхлипнул от смеха, взметнув свои роскошные чернобурковые брови и отирая огромными ладонями слезы на усах. В детстве у смешливого Борьки от хохота просто текло из глаз и носа, как при сильной простуде, и бабушка специально вкладывала в карман его школьной курточки не один, а два наглаженных платка.

— Они с женой вчера вернулись из отпуска, в Ницце отдыхали. Ну, в субботу вышли пройтись по бульвару... Люди религиозные, субботу блюдут строго: выходя из дому, вынимают из карманов деньги и все мирское, дабы не осквернить святость дня. Гуляли себе по верхней Ницце — благодать, тишина, богатые особняки. Потом — черт дернул — спустились вниз, на Английскую набережную... — И снова доктор зашелся нежным голубиным смехом, и опять слеза покатилась к усам. Он достал платок из кармана халата, протрубил великолепную руладу, дирижируя бровями.

— Ох, прости, Петька, тебе не до этого... но жутко смешно! Короче: там то ли демонстрация, то ли карна-

вал — что-то кипучее. Какие-то полуголые люди в желтых и синих париках, машины с разноцветными флажками. Толпа, музыка, вопли... Минут через пять только доперли, что это гей-парад. И тут с крыши какой-то машины спрыгивает дикое существо неизвестного пола, бросается к Давиду и сует ему что-то в руку. Когда тот очнулся и глянул — оказалось, презерватив...

Большое веснушчатое лицо доктора расплылось в извиняющейся улыбке:

— Это дико смешно, понимаешь: святая суббота... и возвышенный Давид с презервативом в руке.

— Да. Смешно... — Тот криво усмехнулся, глядя куда-то в окно, где из будки охранника по пояс высунулся черно-глянцевый парень в оранжевой кепке, пластикой разговорчивых рук похожий на куклу Балтасара, последнего из тройки рождественских волхвов, тоже — черного и в оранжевой чалме. Он *водил* его в театре «Ангелы и куклы» в первые месяцы жизни в Праге.

Волхв-охранник возбужденно переговаривался с водителем легковушки за решетчатыми воротами, и невозможно опять-таки было понять — ругаются они или просто обмениваются новостями.

— Ты распорядился? Ее сейчас приведут?

Борис вздохнул и сказал:

— Сядь, зануда... Можешь ты присесть на пять минут?

Когда тот послушно и неловко примостился боком на широкий кожаный борт массивного кресла, Борис зашел ему за спину, обхватил ручищами жесткие плечи и принялся месить их, разминать, приговаривая:

— Сиди... сиди! Зажатый весь, не мышцы, а гаечный ключ. Сам давно психом стал... Примчался, гад, кто тебя звал? Я тебя предупреждал, а? Я доктор или кто? Сиди, не дергайся! Вот вызову полицию, скажу —

16 в моем же кабинете на меня маньяк напал, законную мою супругу увозит...

— Но ты правда распорядился? — беспокожно спросил тот, оглядываясь через плечо.

Доктор Горелик обошел стол, сел в свое кресло. С минуту молча без улыбки смотрел на друга.

— Петруша... — наконец проговорил он мягко (и в этот момент ужасно напомнил даже не отца своего, на которого был чрезвычайно похож, а бабушку Веру Леопольдовну, великого гинеколога, легенду роддома на улице Щорса в городе Львове. Та тоже основательно усаживалась, когда приступала к «толковой беседе» с внуком. В этом что-то от ее профессии было: словно вот сейчас, с минуты на минуту покажется головка ребенка, и только от врача зависит, каким образом та появится на свет божий — естественным путем или щипцами придется тащить). — Ну что ты, что? В первый раз, что ли? Все ж идет хорошо, она так уверенно выходит из обострения...

— Знаю! — перебил тот и передернул плечами. — Уже получил от нее три письма, все — проклинающие.

— Ну, видишь. Еще каких-нибудь три, ну, четыре недели... Понимаю, ты до ручки дошел, но сам вспомни: последняя ее ремиссия длилась года два, верно? Срок приличный...

— Слушай, — нетерпеливо произнес тот, хмурясь и явно перемогаясь, как в болезни. — Пусть уже ее приведут, а? У нас днем рейс в Эйлат, я снял на две ночи номер в «Голден-бич».

— Ишь ты! — одобрение бровями, чуть озадаченное: — «Голден бич». Ни больше ни меньше!

— Там сезонные скидки...

— Ну, а дальше что? Прага?

— Нет, Самара... — И заторопился: — Понимаешь, тетка у нас померла. Единственная ее родственница, се-

стра матери. Бездетная... То есть была дочь, но на мотоцикле разбилась, вместе с кавалером, давно уже... Теперь вот Вися померла. Там квартира, вот что. Ее же можно продать?

— Наверное, — Борис пожал плечами. — Я уже совсем не понимаю, что там у них можно, чего нельзя.

— Это бы нас здорово поддержало.

Доктор потянулся к телефону, снял трубку и что-то в нее проговорил...

— Пересядь вон туда, в угол, — распорядился он, — не сразу увидит... — И вздохнул: — Каждый раз это наблюдать, можно самому рехнуться.

Второе кресло стояло в углу под вешалкой, и, распахнувшись, дверь становилась ширмой для того, кто в кресле сидел. А если еще укрыться гигантским уютным плащом доктора Горелика, закутаться в него, закуклиться... забыть вдруг и навсегда — зачем приехал: *ее забыть*. Вот радость-то, вот свобода... Черта с два! Все последние мучительные недели он мечтал об этих вот минутах: как ее приведут и, еще не замеченный, он увидит трогательную и будто неуверенную фигурку в двух шагах от себя.

Из-за этой субтильности никто никогда не давал ей ее возраста.

Шаги в коридоре... На слух-то идет кто-то один, и грузный, но его это с толку не собьет: она с детства ступала бесшумно — такими воробыиными шажками шествуют по сцене марионетки.

И разом дверь отпахнулась, и под гортанный приветственный рокот заглянувшей и тут же восвоеси потопавшей по коридору медсестры в контражуре окна вспыхнул горячей медью куст воздушных волос: *неопалимая купина моя*... С рюкзаком на плече, в джинсах и

18 тонком бежевом свитерке — в том, в чем он привез ее сюда в августе, — она стояла к нему спиной: ювелирная работа небесного механика, вся, от затылка до кроссовок, свершенная единым движением гениальной руки.

Как всегда после долгой разлуки, он был потрясен удивительно малым — метр сорок восемь — ростом: как ты хрупка, моя любовь... И тут как тут — услужливым детским кошмаром, из-под шершавой ладони Глупой Баси, которая пыталась закрыть ему глаза, заслонить мальчика от картины смерти, — взметнулась в памяти синяя простыня над телом, ничком лежащим на «брукивке» мостовой. И две живые, длинные пурпурные пряди, словно отбившись от медного стада волос, весело струились в весеннем ручейке вдоль тротуара...

— Ну, привет, Лиза! — воскликнул доктор Горелик с ненатуральным энтузиазмом. — Я смотрю, ты молодцом, м-м-м? Премного тобой доволен...

Как ты хрупка, моя любовь... Скинь же рюкзак, он оттянул плечико.

Она скинула рюкзак на пол, подалась к столу и, опершись о него обеими ладонями, оживленно заговорила:

— Да, Боря, знаешь, я совершенно уже здорова. И даю тебе слово, что... видишь ли, я чувствую, я просто уверена, что смогу жить одна... Ты ведь сам говорил, что у меня абсолютно самостоятельное мышление...

— Лиза... — бормотнул доктор, вдруг заинтересованно подавшись к экрану компьютера, вздыхая и поводя своими, отдельно и широко живущими на лице бровями (никогда не умел притворяться, как не умел в школе списывать на контрольных). — Лиза ты моя, Лизонька...

— И ты был прав! — с каким-то веселым напором продолжала она, поминутно касаясь беспокойными пальцами предметов на полированной столешнице — бронзовой площадки со скрепками, степлера, сувенирного плясуна-хасида с приподнятой коленкой, — то выстраивая их в ровную линию, то движением указательного пальца опять расталкивая порознь. — Прав был, что начинать надо с места в карьер, все отрезав! Я все отсекала в своей жизни, Боря, не оглядываясь назад, ничего не боясь. Я теперь внутренне свободна, полностью от него свободна! Я уже не марионетка, которую можно...

И тут, перехватив беспомощный взгляд Бориса, направленный вверх ее головы в дальний угол комнаты, мгновенно обернулась.

Засим последовала бурная, рывками произведенная мизансцена: двое мужчин, как по команде, вскочили, и только сачков не хватало в их руках, чтобы прихлопнуть заматавшуюся пунктиром бабочку. Впрочем, все продолжалось не более пяти секунд.

Она молча опустила на стул, закрыла лицо ладонями и так застыла.

— Лиза... — Доктор Горелик, пунцовый, несчастный, обошел стол и осторожно тронул ее сведенные судорогой, детские по виду плечи. — Ты же умница и все сама понимаешь... Ну-ну, Лиза, пожалуйста, не стынь так ужасно! Ты сама знаешь, что необходим период э-м-м... адаптации. Есть же и бытовые обстоятельства, Лиза! С ними надо считаться. Человек не может жить вне социума, в воздухе, нигде... Ты уже выздоровела, это правда, и... все хорошо, и все, поверь мне, будет просто отлично... Но пока, сама понимаешь... ты же умница... Петя только временно — вдумайся, — временно-но... ну, просто в качестве э-м-м... дружеского плеча...

Тот, в качестве дружеского плеча, с помертвевшим костистым лицом, с пульсирующей ямой под ребрами, пустыми глазами глядел в окно, где под управлением *дары приносящей* руки черного волхва-охранника медленно пятилась в сторону решетка автоматических ворот, пропуская на территорию больницы машину-амбуланс...

Он знал, что эти первые минуты будут именно такими: ее оголенная беспомощная ненависть; его, как ни крути, оголенное беспомощное насилие. Всегда готовился к этим проклятым минутам — и никогда не бывал к ним готов.

* * *

Всю дорогу до Эйлата он внешне оставался невозмутим, меланхолично посвистывал, иногда обращался к ней с каким-нибудь незначимым вопросом:

— Ты хочешь у окна или?..

Она, само собой, не отвечала.

Это нормально, твердил он себе, все как в прошлый раз. Надеялся на Эйлат — прогнозы обещали там райскую синь и румяные горы — и уповал на отель, за который, при всех их сезонных благодеяниях, выложил ослепительные деньги.

Пока долетели, пока вселились в роскошный до оторопи номер на девятом этаже, с балконом на колыхание длинных огней в воде залива, на желто-голубое электрическое марево такой близкой Акабы, — уже стемнело...

Они спустились и молча поужинали в китайском ресторане в двух шагах от моря, среди губасто ощеренных, в лакированной чешуе, комнатных драконов, расставленных по всему периметру зала. Она долго штудировала меню и затем минут пятнадцать пыталась официанта — коренастого, вполне натурального с виду китайца (вероятно, все же тайландца) — на предмет состава соусов. Она всегда неплохо щебетала и по-французски и по-английски: отцово наследие.

В конце концов заказала себе неудобнопроизносимое нечто. Он же под учтивым взглядом непроницаемых глаз буркнул «ай ту», после чего пытался вилкой совладать с кисло-сладкими стручками, смешанными с кусочками острого куриного мяса. Есть совсем не хотелось, хотя в последний раз он ел — вернее, выпил водки из пластикового стаканчика — ночью, в самолете. И знал, что есть не сможет до тех пор, пока...

После ужина прошлись — она впереди, он следом — по веселой, бестолково и тесно заставленной лотками и лавками торговой части набережной, где ветер приценивался к развешанным повсюду цветастым шароварам, блескучим шарфикам и длинным нитям лукаво тренькающих колокольцев. Прошествовали по холке голландского мостка над каналом, в черной воде которого огненным зигзагом качалась вереница огней ближайшего отеля; потолкались меж стеллажами книжного магазина «Стемацкий», куда она неожиданно устремилась (хороший признак!) и минут десять, склонив к плечу свой полыхающий сноп кудрей, читала, шевеля губами, названия книг в русском отделе (три полки завезенной сюда мелкой пестрой плотвы российского развода). Он поторопился спросить: «Ты бы хотела какую-ни?..» — ошиб-

22 ка, ошибка! — она молча повернулась и направилась к выходу; он за ней...

В отдалении гигантская вышка какого-то увеселительного аттракциона швыряла в черное небо огненный шар, истекающий упоительным девичьим визгом.

Она все молчала, но, украдкой бросая взгляд на ее озаренный светом витрин и фонарей профиль витражного ангела, он с надеждой подмечал, как чуть поддаются губы, углубляя крошечный шрам в левом углу рта, как слегка округляется подбородок, оживленной блестят ее горчично-медовые глаза... А когда приблизились к аттракциону и внутри освещенного шара увидели смешно задрвшую обе ноги девушку в солдатской форме, она оглянулась на него, не сдержав улыбки, и он посмел улыбнуться ей в ответ...

В отель вернулись к десяти, и еще выпили в гостиничном баре какой-то тягучий ликер (как же здесь, черт подери, все дорого!); наконец вошли в стеклянный цилиндр бесшумного лифта и поплыли вверх, стремительно, будто во сне, нанизывая прозрачные этажи один на другой. Затем по бесконечной ковровой тиши коридора, вдоль дрожащего — на черных горах — хрустального облака огней дошли до нужной двери, и — вот он, в подводном свете полусонных торшеров, их огромный аквариум с *заливистой* стеной во всю ширь балкона, с великолепной, хирургически белой ванной комнатой. Браво, Петрушка!

Пока она плескалась в душе (сложная полифония тугого напора воды, шепотливо журчащих струй, последних вздохов замирающей капли, наконец, жужжания фена; на мгновение даже почудилось легкое мурлыканье?... нет, ошибся, не торопись, это за стенкой или с соседнего балкона), он распеленал белейшую арктическую постель с двумя огромными айсбергами подушек, разделся, расплел косичку, взбодрил пятер-

ней густые черные с яркой проседью патлы, и тем самым преобразился в совершенного уже индейца, тем более что, полуобнаженный, в старой советской майке и трусах, он странным образом утратил жилистую шуплость, обнаружив неожиданно развитые мышцы подбористого хищного тела.

Присев на кровать, достал из рюкзака свой вечный планшет с эскизами и чертежами, на минуту задумавшись, стоит ли сейчас вытаскивать перед ней все это хозяйство. И решил: ничего страшного, не думает же она, что он сменил ремесло. Пусть все будет как обычно. Доктор Горелик сказал: пусть все как обычно. Кстати, разыскивая карандаш в неисчислимых карманах рюкзака, он наткнулся на пять свернутых трубочкой сто долларовых бумажек, которые Борька умудрился втиснуть в коробку с ее таблетками лития. Ах, Борька...

Он вспомнил, как тот суетился, провожая их до ворот: добрый доктор Айболит, великан, не знающий, куда деть самого себя; похлопывал Петю по спине мягким кулачищем, как бы стараясь выправить его сутулость, и возмущенно дурашливо бубнил:

— Увозят! Законную мою супругу умыкают, а?! — и Лиза ни разу не обернулась.

...Наконец вышла — в этом огромном махровом халате (а ей любой был бы велик), с белой чалмой на голове. Подобрал полы обеими руками и все же косолапо на них наступая, она — привет, Маленький Мук! — прошлепала на балкон и долго неподвижно там стояла, сложив тонкие, в широченных рукавах, руки на перилах, как старательная школьница за партой. Разглядывала черную ширь воды с дымчато-гранатовыми созвездьями яхт и кораблей и безалаберно кружащую толпу на променаде. Там веселье только начиналось.

24 Они же оба, невольники гастрольных галер, всю жизнь привыкли укладываться не позже одиннадцати.

Вернувшись в номер, она остановилась перед ним — он уже лежал в постели, нацепив на острый нос нелепые круглые очки и сосредоточенно чиркая что-то на листе в планшете, — стянула с головы полотенце, мгновенно пыхнув карминным жаром в топке ошалелого торшера, и с чеканной ненавистью произнесла, впервые к нему обращаясь:

— Только посмей до меня дотронуться!

Молчание. Он смахнул резиновые крошки с листа на котором в поисках лучшей двигательной функции разрабатывал принципиально новую механику локтевого узла марионетки, и ответил несколько даже рассеянно:

— Ну что ты, детка... Ляг, а то озябнешь.

В обоих висках по-прежнему бухал изнурительный молот. И, кажется, черт побери, он забыл свои таблетки от давления. Ничего, ничего... Собственно, сегодня он ни на что и не надеялся. И вообще, все так прекрасно, что даже верится с трудом.

Минут сорок он еще пытался работать, впервые за много недель ощущая слева блаженное присутствие туго завернутого махрового кокона с огнисто мерцавшей при любом повороте головы копной волос и тонким, выставленным наружу коленом. Замерзнет, простудится... Молчать! Лежи, лежи, Петрушка, лежи смиренно, и когда-нибудь тебе воздастся, старый олух.

Наконец потянулся к выключателю — как все удобно здесь устроено! — и разом погасил комнату, выслепив черное серебро залива за балконом...

В пульсирующем сумраке из глубин отеля, откуда-то с нижней палубы, текла прерывистая — сквозь шумы набережной, звон посуды в ресторане и поми-

нутные всплески женского смеха — струйка музыки, едва достигая их отворенного балкона.

Вальяжными шажками прошелся туда-сюда контрабас, будто некий толстяк, смешно приседая, непременно хотел кого-то рассмешить. Ему скороговоркой уличной шпаны монотонно поддакивало банджо, а толстяк все пыжился, отдувался и пытался острить, откалывая кренделя потешными синкопами; банджо смешливо прыскало густыми пучками аккордов, и, вперебивку с истомно флиртующей гитарой и голосисто взмывающей скрипкой, все сливалось в простодушный старый фокстротик и уносилось в море, к невидимым отсюда яхтам...

Он лежал, заложив за голову руки, прислушиваясь к миру за балконом, к неслышному утробному шороху залива, понемногу внутренне стихая, хотя и продолжая длить в себе настороженное, тревожно-мучительное счастье... Лежал, поблескивая в лунной полутьме литыми мускулами, — привычно отдельный, как вышелушенный плод каштана, — и не двинулся, когда она зашевелилась, высвобождаясь из халата — во сне? нет, он ни минуты не сомневался, что она бодрствует, — и юркнула под одеяло, перекатилась там, обдав его накопленным теплом, оказавшись вдруг совсем рядом (лежать, пес!), — хотя по просторам этой величественной кровати можно было кататься на велосипеде...

Все его мышцы, все мысли и несчастные нервы натянулись до того предела, когда впору надсадным блаженным воплем выдавить из себя фонтан накопленной боли... И в эту как раз минуту он почувствовал ее горячую ладонь на своем напряженном бедре. Эта ладонь, словно бы удивляясь странной находке, решила основательней прощупать границы предмета...

«Соскучилась, подумал он, соскучилась, но ты не шевелись, не шевелись... не ше...» — и не вынес пытки, подался к ней всем телом, робко встретил ее руку, переплел пальцы...

В следующий миг хлесткая оплеуха, довольно грандиозная для столь маленькой руки, сотрясла его звонкую голову.

— Не смей!!! — крикнула она. — Белоглазая сволочь!!! — и зарыдала так отчаянно и страшно, что если б соседи не коротали этот час в кабачках и барах набережной, кто-то из них обязательно позвонил бы в полицию. И, между прочим, такое уже бывало...

Он вскочил и первым делом затворил балконную дверь; и пока она исходила безутешными горестными рыданиями, молча метался по номеру, переживая этот неприменный этап *возвращения*, который вообще-то ожидал не сегодня, но, видно, уж она так соскучилась, так соскучилась, моя бедная! Да и слишком многое сегодня на нее навалилось, слишком быстрая смена декораций — из больничной палаты в эти дворцовые покои... Может, это его очередная ошибка, может, стоило снять скромную комнату в недорогом пансионе? И почему он, идиот собачий, никогда не чувствует ее настроения?!

Когда наконец она стихла, забившись под одеяло, он подкрался, присел рядом с ней на кровать и долго так сидел, задумчиво сутулясь, зажав ладони между колен, все еще не решаясь прилечь по другую сторону от сбитого хребтом одеяла...

Внизу по-прежнему наяривал квартет; ребята честно отбывали свою халтуру до глубокой ночи. Играли хорошо, со вкусом и некоторым даже изыском составив программу из джазовой музыки тридцатых-сороковых, и звучала, все-таки звучала в этих мелодиях теплая, наивная и грустная надежда: еще немного, еще чуток

перетерпеть, и все наладится! Завтра все будет иначе... Солнце, ветерок, море-лодочки... купальник купим... какое-нибудь колечко, что там еще?

Вдруг — после долгой паузы, когда он решил, что музыканты уже получили расчет на сегодня и, присев к крайнему столику, накладывают в тарелки салаты, — вспыхнул, улыбнулся и поплыл родной мотивчик «Минорного свинга» Джанго Рейнхардта, вбитый, вбуравленный в каждую клеточку его тела... Еще бы: он сотни раз протанцевал под него свой номер с Эллис... Да-да: эти несколько ритмичных и задорных тактов вступления, в продолжение которых — во фраке, в бальных лаковых туфлях — он успевал выскользнуть на сцену и подхватить ее, одиноко сидящую в кресле.

И тогда начиналось: под марципановые ужимки скрипочки и суховатые удары банджо вступает основная мелодия: тара-рара-рура-рира-а-а... и — ump-ump-ump-ump! — отдувается контрабас, и до самой перебивки, до терпкого скрипичного взмыва: джу-диду-джи-джа-джу-джи-джа-а-а-а! — Эллис двигается вот тут, под его правой рукою, багряный сноп ее кудрей щекочет его щеку... оп! — перехват — четыре шага влево — перехват и — оп! — снова перехват — четыре вправо, и пошли-пошли-пошли, моя крошка, синхронно: нога к ноге, вправо-влево, вправо-влево, резко всем корпусом — резче, резче! Оп! Тара-рара-рури-рира-а-а... А теперь ты как томный шелковый лоскут на моей руке: плыви под меланхоличный проигрыш гитары и скрипки, плыви, плыви... только огненные кудри, свесившись с локтя, колышутся и вьются, и змеятся, как по течению ручья...

Он не обратил внимания, как сам уже взмыл с постели, и плывет, и колышется в полнотелом сумраке

28 ночи — правая рука, обнимая тонкую спину невидимой партнерши, согнута в локте, левая умоляюще протянута — и плывет, и плывет сквозь насмешливо-чувственный лабиринт «Минорного свинга»...

Он протанцовывал сложный контрапункт мельчайших движений; искусные его пальцы наизусть перебирали все рычажки и кнопки, при помощи которых извлекались томные жесты отсутствующей сейчас малютки Эллис, — так вызывают духов из царства тьмы. Его позвоночник, шея, чуткие плечи, кисти рук и ступни ног знали на зубок каждый сантиметр ритмического рисунка этого сложного и упоительного танца, которому аплодировала публика во многих залах мира; он кружился и перехватывал, и, выпятив подбородок, бросал на левый локоть неведомую хрупкую тень, то устремляясь вперед, то останавливаясь как вкопанный, то хищно склоняясь над ней, то прижимая ее к груди... И все это совершал абсолютно автоматически, как если б, задумавшись, шел по знакомой улице, не отдавая отчета в направлении и цели пути, не слыша даже собственных шагов. Если бы движения его оставляли в воздухе след, то перед зрителем постепенно выткался бы сложнейший узор: изысканное, сокрытое плетение кружев, тайнопись ковра...

За перилами балкона, высоко над струящими свои лохмотья пальмами, крепко была ввинчена в звездное небо отлично сработанная, хотя и преувеличенных размеров медная луна, надраенная до наглого блеска (осветители перестарались). Она заполонила не только весь залив, со всеми его берегами, корабликами и лодками у причалов; она вторглась настырным парафиновым свечением в комнату, выдав каждому предмету по цельному куску черной тени, оставляя на стенах размашистые росчерки, замысловатые вензеля и

заковыристые монограммы, без конца запуская и запуская по занавесям кружевную карусель теней...

И если б хоть кто-нибудь мог стать свидетелем этой странной картины: миниатюрная женщина в глубоком забытии и мужчина с лунным лицом, с действительно очень светлыми даже в полумраке глазами, что сновал вокруг нее в стремительном, изломанном распутном танце, горячей ладонью оглаживая пустоту, привлекая эту пустоту к себе на грудь и застывая в мгновенной судороге страсти, — такой свидетель вполне мог принять эту сцену за натужную находку модного режиссера.

Настоящего удивления (даже, пожалуй, восхищения) заслуживало только одно: остроносый и несуразный, сутулый человек в смешных семейных трусах и дешевой майке в танце был так завораживающе пластичен, так иронически печален и так влюблен в драгоценную пустоту под правым локтем...

С последним чеканным поворотом его головы музыка смолкла. Карусель теней в последний раз проволокла по стенам все свои прозрачные экипажи и стала.

Две-три минуты он не шевелился, пережидая беззвучные аплодисменты зала; затем качнулся, уронив руки, будто сбрасывая невидимую ношу, сделал шаг-другой к балкону и медленно отворил дверь, впуская внутрь тугое дыхание ночного залива...

Лицо его сияло... Так же бесшумно, как танцевал, он подкрался к постели, на которой недвижным кулем застыла его возлюбленная. Глубоко выдохнув, опустился на колени у изголовья, щекой прижался к одеялу над ее плечом и прошептал:

— Не торопись... Не торопись, мое счастье...

30 Глава вторая

«...Да будет трепыхаться тебе, доктор! Пора бы и в себя прийти: часа три как они отбыли, а ты все пятый угол ищешь...

Нет, как вспомню этот конвой: впереди она — призрак женщины, огненноволосый эльф с шизо-аффективным расстройством, — и позади он: с жесткими, как вага¹, сутулыми плечами и скованной походкой, смахивающий на марионетку больше, чем все его куклы, вместе взятые. Ну просто — Синяя Борода со своей невинной жертвой...

Собственно, зачем я это пишу? Неужели спустя столько лет во мне еще живы какие-то графоманские амбиции? Да вроде нет... Давно уже, случайно натываясь в папках на публикации стихотворений и рассказов некоего Бориса Горелика, этого пылкого болвана, я не испытываю ровным счетом ничего: видимо, эмиграция отбивает какие-то душевные печенки; тем более удачная эмиграция, вроде моей, — если, конечно, считать развод с Майей удачей.

Нет, возвышенные позывы тут ни при чем. Просто внезапное желание записать кое-какие мысли открыло в памяти шлюзы, из которых сначала ручейком, а затем потоком хлынуло прошлое, задним числом объясняя события наших жизней — спаянных, как выяснилось, более тесно, чем когда-то мог предположить каждый из нас троих.

А изо дня в день исписывая по несколько страниц, ты поневоле сооружаешь какую-никакую — пусть ос-

1 Вага — своеобразная панель управления марионеткой, куда сходятся все нити куклы. Вага бывает горизонтальной, вертикальной, двойной.

колючую, скороговорочную и хроменькую, — но свою картину мира. Хуже, когда пытаешься найти в этой картине свое место, задумываешься над ним и... обнаруживаешь импозантное усатое ничтожество под собственным именем.

А я всегда чувствую себя ничтожеством, когда присутствую при встрече этих двоих после разлуки.

Самое нелепое, что официально она действительно приходится мне женой. Как еще я смог бы устроить ее к нам в клинику, если она не имеет ни малейшего основания на репатриацию в Израиль?

Когда в девяносто шестом мне впервые позвонил из Праги ополоумевший Петька (они оказались там на очередном фестивале кукольных театров, не имея ни жилья, ни гражданства, ни медицинской страховки; да еще только что умер — и слава богу! — этот их несчастный ребенок), когда он позвонил мне, абсолютно невменяемый, так что сначала я не мог толком понять, кто из них двоих рехнулся, и вопил: «Сделай что-нибудь, спаси ее, Борька!!!» — вот тут-то мне и пришлось вспомнить, что я полгода как благополучно разведен и вполне готов к новым идиотским свершениям.

Не знаю, что в тот моментстряслось с моими мозгами, но только сердце мое разрывалось от жалости к ним обоим.

Главное, в ту минуту я почему-то — как ударило меня! — вспомнил пророческие слова незабвенной моей бабуши Веры Леопольдовны в день, когда Петька объявил, что они с Лизой решили...

— Боба... — сказала она, войдя ко мне в комнату и плотно прикрыв дверь своей широкой спиной. — Ты

32 будешь не друг, а настоящая гóвна, если не отговоришь Петрушу от этого губельного шага.

Незабвенная бабуся говорила на четырех языках и на всех решительно и живописно, как изъясняются обычно хорошие гинекологи, но на русском излагала мысли особенно непринужденно и веско, с терпким вкраплением матерка — когда считала это эмоционально необходимым. Бывало, в детстве войдет в мою комнату в самый разгар игры, с неизменной сигаретой во рту, да как рывкнет своим неподражаемым басом: «Ой, Петлюра ж! Шо ж так нóсрано кругом, люди добры?!»

— Останови эту сумасшедшую телегу, Боба, она его раздавит, — сказала бабуся.

— Почему? — озадаченно спросил я.

— Потому, что эта крошка не из доброго лукошка...

И когда я вскинулся и забурился, осадила меня так, как только она это умела: презрительным холодным взглядом. (Мой отец, ее единственный сын, в таких случаях говорил, усмехаясь: «вскроем проблему скальпелем».)

— Дурак, — обронила она тихо и властно. — Я — медик. Плевать мне на нравственность всей той семейки. Плевать мне, какую из жен проигрывал в карты ее папаша, и с какой радости выбросилась из окна спальни прямо в ночной рубашке ее несчастная мать. Я сейчас о другом: там нехороший ген в роду, а это не шутки.

— Какой еще ген... — пробормотал я, чувствуя за ее словами муть и холод глубокого омута.

— А такой, что ее мать до Лизы родила двоих мальчиков, одного за другим, и оба — с синдромом. Хорошо, что не жильцами оказались.

— Что за синдром? Дауна?

— Нет, другой. Какая разница?

— Нет, ты говори уж, говори! — взвился я.

— Ну... есть такой, — сказала она. — Называется

«синдром Ангельмана» или «синдром смеющейся куклы», а еще — «синдром Петрушки». Не учили еще? Маска такая на лице, вроде как застывший смех, взрывы внезапного хохота и... слабоумие, само собой. Неважно! Поговори с ним по-мужски, если не хочешь, чтобы я вмешалась.

— Только попробуй! — крикнул я ей вслед и со злости запустил в закрытую дверь вышитой думкой. Но с Петькой все-таки пытался говорить — такое впечатление на меня произвели бабусины слова. Особенно это название...

...Тут ведь надо всю Петькину жизнь рассказывать: и про его сахалинское детство, и про нескладную его семью — а что я, собственно, знаю? Он с малых лет был дьявольски скрытен, вернее, просто герметичен в своих чувствах; во Львове проводил только летние месяцы, когда мать отправляла его на каникулы к своей любимой Глупой Басе. А та, за неведомые мне в то время заслуги перед нашей семьей, приходила к нам каждое воскресенье «столоваться» — выражение бабуси.

Помню ее почему-то в одном лишь облике: высокую, с плоскими седыми волосами и длинными плоскими ступнями, одетую в старый плащ моего отца — мужчины корпулентного — с огромными надставными плечами. На шее болтался детский шарфик с розовыми бомбошками на концах.

Кажется, она даже носила и туфли моего отца, у них размер совпадал. А тот — насмешник и балагур — говорил ей с благоговейно-озабоченным лицом:

— Берегите эти вещи, Бася, они почти новые. До меня их носили только трое: мой дед — изящный харьковский извозчик, актриса Вера Холодная и Феликс Эдмундович Дзержинский.

Глупая Бася все принимала на веру.

Иногда, если уж совсем бывала сама занята, бабуся посылала ее на рынок. Бася брала большую корзину, на дно ее клала кошелек и страшно удивлялась, когда его крали. Не могла понять: ведь она всегда так делала «за Польски». Отец говорил ей, смеясь:

— Бася, идите, вас уже ждут на рынке.

Кажется, она служила дворничихой в одном из домов на Саксаганского...

Когда-нибудь напишу эссе о львовских дворниках, об этих ныне вымерших динозаврах, — хотя они заслуживают не эссе, а целой поэмы, трилогии, эпопеи!

В те годы все «брамы» — то есть ворота в длинную, как бинокль, арку каретного въезда — на центральных улицах Львова бывали непременно заперты. Жильцы и гости давили на кнопки звонков на панели с номерами квартир и ждали, пока выйдет... дворник, ибо он не только подметал двор, натирал мастикой паркет, надраивал до огневого блеска — чтоб горели на солнце! — медные ручки на дверях, но и исполнял обязанности консьержа.

Обитали они обычно в подвальных квартирках или в бельэтаже, не выше.

Дворника нашего дома звали пан Луц. Именно он выходил на звонки в квартиры и чинно сообщал: «Никого нема в дому, до зобаченя», или «Прошэ бардзо», — что означало: он о госте предупрежден, и хозяйева ждут. Ему и записки оставляли определенного сердечного свойства — «до востребования», и сейчас я думаю, что пан Луц мог сколотить неплохой капиталец, прислуживая на побегушках вездесущей богине тайной любви: пожилой амур с редкими желтыми зубами и щучьим прикусом ощеренного рта.

Главным украшением его «кавалерки» — маленькой комнаты с туалетом (ванной не было), куда я однажды заглянул без спросу, — была великолепно исполненная довоенная реклама польских презервативов, на мой нынешний взгляд, гениально простая: один только фирменный знак «Ultra Gum», с надписью под ним: «Predzej ci serce peknie!» — «Скорее сердце у тебя лопнет!»

Всегда предупредительно вежливый со взрослыми (еще бы: возвращаясь домой поздним вечером, жильцы — так было принято — совали монетку-другую поднятому с постели дворнику), он остервенело гонял нас, детей. И его можно понять: мы ежедневно донимали его одной и той же мерзкой выходкой: звонили сразу в несколько квартир и убегали, чтобы спрятаться за углом дома.

Пан Луц выскакивал, дико матерясь по-польски, потрясая кулаками, обещая невинным прохожим страшные муки... чтобы уже через минуту, после очередного ликующего аккорда по пяти кнопкам, непременно выбежать вновь, как китайский болванчик. Так могло продолжаться бесконечно долго, особенно на каникулах: мы проверяли пана Луца на прочность. А он (вышколенная косточка!) все продолжал выбегать на звонки, и вовсе не потому, что хотел нас поймать, а потому, что боялся пропустить посетителя или жильца — то есть не выполнить, *не дай боже*, свой долг.

Правда, на какой-нибудь сотый издевательский залп звонков он мог выбежать с мокрой тряпкой и, размахивая ею, как раненный в бою знаменосец, с вытаращенными глазами орать: «*Пся кров! Курва! Шляг бы те трафил! Жэбы те кров заляла!*»¹

1 Шляг бы те трафил! Жэбы те кров заляла! — Чтоб тебя удар хватил! Чтоб ты кровью залился! (польск.)

Ах, какой у нас был дом... Такие дома во Львове называли «австрийскими»; а еще этот стиль носил имя «сецессия», и ни в одной другой европейской стране я больше не встречал подобного названия.

Улицы Ивана Франко, Зеленая и Шота Руставели образовали треугольник, внутри которого, в свою очередь, поместился треугольник домов, а уж внутри этого треугольника жил двор: разноуровневый и многокастовый.

Наш двор, мощный мелкой плиткой, по периметру был обсажен итальянскими тополями. Каждый год их стригли, придавая форму, и тогда вся улица терпко и волнующе пахла срезанными тополиными ветвями.

Во дворе и груша росла, добрая старая груша, плодоносящая раз в два года. И когда созревали плоды лимонно-золотистого цвета, живущий в бельэтаже известный писатель Станислав Кобрыньский снимал урожай и разносил его по квартирам. (Странно, что я никогда не пытался прочесть ничего из написанного Кобрыньским — нелюбопытная юность? А между тем этот пан был весьма забавен; бабуся уверяла, что он сорочки меняет пять раз на дню, а в опере садится на те места, что с краю: боится рокового падения люстры.)

Опять-таки странно, что никто из других жильцов на грушу не посягал. Например, ее ветви поднимались к самым окнам нашей кухни, и в урожайный год можно было распахнуть окно и сорвать плод. Однако никому не приходило это в голову. Все ждали, когда пан Станислав чинно поделит урожай. Между прочим, когда старый писатель умер, дерево, как в хорошей притче, перестало плодоносить.

Подвал и чердак нашего дома — два континента противоположных миров — заслуживают отдельного упоминания. В подвале держали овощи на зиму и хра-

нили старый хлам, а вот чердак — тот был светлым, чистым, хорошо проветривался; в иных домах жильцы разводили там голубей... У нас соседи вывешивали белье на просушку; чистые, крахмальные, подсиненные простыни парусами каравелл перегораживали чердак в ширину, и это был еще один волнующий — *морской* в центре Львова — запах моего детства. Очередность стирки соблюдалась строго, у каждого по чердаку были протянуты свои веревки — у пани Стефы, у Гали, у Берты Ефимовны, у незабвенной бабуши...

— У меня сегодня большая стирка, — озабоченно говорила одна.

— А у меня — не так чтобы очень...

Парадная нашего дома... Пол ее был выложен отлично сохранившейся мелкой плиткой с густым ковровым узором: синие лилии сплетались по кремовому полю. Знаменитая фабрика Левинского: керамическая плитка, печные изразцы... Зайдите и сейчас в какую-нибудь браму в центре старого Львова и посмотрите под ноги: эта плитка не-сно-си-мая! — если, конечно, железным ломом ее не крушить.

Винтом взлетала вверх широченная лестница — чугунные кружевные перила с деревянными поручнями, отполированными сотнями рук; ковров уже нет, но еще сохранились между ступенями бронзовые ушки для ковровых штанг. В детстве наш подъезд напоминал мне протестанский храм, разве что без алтаря, зато с высокими — сквозь все этажи дома — окнами, не с прозрачным, а желтоватым звездчатым стеклом, отчего по всем пролетам разливался неяркий, но благодатный теплый свет.

Дважды в год — на Пасху и на 7 ноября — пан Луш натирал мастикой дубовый паркет, а перила лестницы

38 покрывал олифой. С тех пор, стоит мне войти в магазин красок и лаков — где бы это ни было, — я втягиваю носом воздух, чтобы приманить воспоминания о запахе парадной нашего дома.

* * *

...Интересно, что я помню день нашей с Петькой первой встречи абсолютно отчетливо.

Сквозь блаженный утренний сон, сквозь густую вязь звуков: бряканье бидона с молоком у входной двери, натужный скрип тросов грузового лифта со двора (кто-то поднимает дрова или мешок с картошкой), гулкие оплеухи выбивалки о ковер на «заднем» балконе, уютное треньканье трамвая с улицы и тягучий рык сборщика бутылок: «Фля-а-ажка-бутылка!», — привычно сплетаясь с вездесущими запахами утреннего города: кофе из *каварни* напротив, выпечки из ближайшей *цукерни*, — доносится (дверь приоткрыта) голос бабуси:

— Не понимаю, как его мать может доверять мальчика этой дурынде...

Неразборчивый мамин отклик на ее слова, затем *бабусины звуки*: чирканье спичкой о коробок и астматическое придыхание, с каким она затягивается дымом (а то, что сигарета уже во рту, слышно по шепелявому выговору согласных):

— Оставь, она не помнит, как ее зовут! Слушай, надо бы как-то обогреть пацана, а? Скажи ей, пусть в воскресенье приходят вместе, тарелки супа мне не жалко. И пусть тогда Боба...

Она удаляется по коридору в кухню, где сразу оживают чугунные и кафельные звуки: там огромная печь на четыре конфорки, духовка для выпечки хлеба, чугунные, с резными оленями, поддоны под выпавший вдруг

из печки уголек... — где они с мамой бубнят родственными озабоченными голосами: «боба-боб-для-бобы...».

И в воскресенье Глупая Бася приходит не одна, а с мальчиком: щуплым, носатым, молчаливым; очень, очень странным...

Так я о том, что с детства он был замкнут и скрытен — во всем, что не касалось главного: его зачарованности куклами, какой-то обезумелой погруженности, безжалостной — и я сказал бы, тиранической — влюбленности в ирреальное пространство кукольного мира.

Сейчас думаю: не была ли его тяга к выражению себя через куклу преодолением частичного аутизма, способом как-то обратиться к миру? Недаром он и сейчас совершенно преображается, когда берет куклу в руки; и если работает не за ширмой, а на сцене, в открытую, то — при своем-то небольшом росте, сутулости и отнюдь не классической фигуре — кажется более высоким, необъяснимо более *значительным* и — да что там! — становится по-настоящему неотразим.

Главным анекдотом его детства была кража маленькой Лизы, неосторожно оставленной возле магазина без присмотра — «на хвилечку!» — ее нянькой-русинкой. Петька, восьмилетний пацан, утащил младенца прямо из коляски только из-за того, что своими томными глазами и пунцовыми, как ягода-калина, кудряшками эта лялька была ужасно похожа на ожившую куклу!

А может быть, наша первая встреча запомнилась мне потому, что как раз в тот день всю улицу перепол-

40 лошило ужасное событие: из окна своей спальни выбросилась молодая жена адвоката Вильковского.

Глупая Бася ввалилась в нашу прихожую, пыхтя, как паровоз; топала отцовыми ботинками и, мешая польские и украинские слова, несла какую-то бурную околесицу. Когда наконец ее раздели, переобули и вытолкнули в залу, выяснилось, что в прихожей кто-то остался и стоит под вешалкой. Го-о-о-споди, проговорила бабуся густым протяжным своим басом, он же ростом с мой зонт, этот ребенок...

(Зонт у бабуся, правда, был царским: фиалковый, с блестящей пикой. Отец почему-то называл его «Фрейлина императрицы», — он давал прозвища всем вокруг, и людям, и вещам. Приземистый секретер в его кабинете назывался «Присяжный поверенный», а васильковый мамин халат с вечно расстегнутой на груди золотой пуговицей носил непонятное мне имя «Здрасьте-пожалста!».)

У пацана, что привела Глупая Бася, оказался отсутствующий взгляд прозрачно-серых, седых каких-то глаз. И диковатая раскосина в них была, будто глядел он не прямо, а сквозь тебя или куда-то над твоей головой... Позже я понял, что в квартиру он вошел как раз после того, как «скорая» увезла тело самоубийцы; оказывается, та выбросилась из окна прямо у него на глазах, — вполне объяснимый шок для восьмилетнего ребенка. Но в тот момент он мне ужасно не понравился: остолоп какой-то, вдобавок немой. А меня-то мама уговорила выстроить для «нового друга» парк своих машин. Они тянулись цветной сверкающей колонной по комнате, заруливали под кресло и под стол, а в поставленной на попа картонной коробке из-под набора перчаточных кукол я устроил стоянку маленьких коллекционных моделей.

Но этот будто замороженный тип едва бросил

взгляд на мои богатства. Зато, заметив в углу горку вываленных из коробки глиняных голов на грязноватых балахончиках, буквально остолбенел.

— Мо... можно? — тихо спросил он, неловко тыча пальцем в эту свалку.

— Па-ажал-ста, — ответил я, пожав плечами. Не показал виду, что обиделся.

Перчаточных кукол отец привез из Москвы, куда время от времени ездил в командировки. Коробка вмещала сразу три набора: «Незнайка на Луне», «Русские народные сказки», «Сказка о попе и работнике его Балде». Дня три я ими играл, показывая бабушке и маме «спектакли» на спинке стула; и поскольку главным постановочным элементом у меня были драки, и куклы бились, как петушки, нос об нос, то вскоре их глиняные физиономии облупились. Вид у «артистов» был довольно жалкий, и я потерял интерес к этим убожествам. Они умели только кланяться и хлопать в ладоши. И вообще, я всегда любил точное подобие *настоящих* вещей — то есть, как теперь понимаю, рос ребенком без воображения.

Никогда не забуду, как мой гость плюхнулся на колени возле этой кучи тряпья и стал разбирать, раскладывая кукол на ковре, бережно расправляя мятые балахоны...

И вновь, подняв на меня светлые, какие-то сквоzystые глаза, спросил: можно?

— Да это же барахло собачье! — в сердцах проговорил я, нажимая на пульт управления великолепной заграничной машинки.

Тогда он молча крутанулся на коленках, показав мне спину, ссутулился, копошась там, а когда обернулся с воздетыми, как для молитвы, руками — и на каждой сидела кукла, — у него уже было другое лицо, он вообще стал *другим*.

И вот на край стола тяжело взобрался надменный и глупый, брюхастый Поп. Суетливо крестясь, как-то страшно живо шевеля боками и смешно отключивая зад, он пятился и повторял басом: «Осподи-сусе-христе-осподи-суси»... А навстречу ему пошла, колыхая косой, Красавица из совсем другой сказки. Напевала визгливым голосом стыдные уличные куплеты, предлагая Попу показать... Словом, пацан отлично знал все эти слова, проговаривал их смачно, с жеманным девичьим смешком, подпихивая изнутри подол платья. Красавица завлекала Попа, набивала себе цену, и в этом была холодящая пружина спектакля. Величала она Попа «старым хреном», «собачьим хвостом» и «вонючей колбасой»; отплясывала перед ним какой-то непристойный канкан, а тот заваливался на спину, отдувался, скулил, просил пощады... «Не уходи, ягодка моя сладка-росиста! Проси, шо хошь, токо дай хрудя пощупать!». А та ему: «Нетушки, стар-пузатый, ты прирежь сперва свою жирну попадю!» Одним словом, ничего похожего на сказку Пушкина...

Не помню уже всех перипетий этого спектакля, помню только впечатление восторженной оторопи, я бы сказал, разносторонней: от смелости его, глубокой осведомленности в таинственной сфере взрослых отношений, от того, как старые тряпки с болванками голов вдруг стали живыми существами, от завораживающей разноголосицы: Балда залихватски растягивал слова хриплым пивным голосом, посвистывал сквозь зубы и страшно матерился; Незнайка фистулой частил хулиганскую абракадабру и разок громко пукнул в патетическом месте песни «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Главное, в сюжете не возникало ни единой заминки: кто-то кого-то догонял, бил или танцевал с ним, тот вопил, убегал или улещивал; голоса перепле-

тались, шшибались, дразнились и — как мне тогда показалось — все время что-то распевали, чуть ли не дуэтом; обволакивали, увлекали за собой действие на двух руках.

Никогда в жизни мне еще не было так интересно. Я был покорен, взят в плен, поработен им раз и навсегда... Боюсь, все это продолжается по сей день, хотя кукольный театр и вообще сам мир кукол так и не стал моим.

Когда нас позвали в столовую, он идти не захотел, — не хотел снимать кукол с рук. Залез под стол и молча зыркал оттуда своими волчьими глазами. Но его дружелюбно выволокли, и за обедом он — возможно, потому, что взрослые намеками, глухо и обрывочно, косясь на детей, раза три упоминали об утренней трагедии, — сидел угрюмый и замкнутый, в точности такой, каким пришел. В мою сторону даже не глядел, ковырял вилкой скатерть. А я-то думал, мы уже друзья...

Мне и сейчас при каждой встрече хочется сразу всучить ему в руки какую-нибудь куклу, чтобы вместо отчужденной маски увидеть его настоящее лицо. Кстати, в юности довольно долго он и таскал повсюду с собой одну из тех кукол, величиной с ладонь, которые с поразительной ловкостью мастерил сам «на подарки». Если правильно помню, это делалось так: на проволоочный крест накручивался синтепон и обклеивался материей, после чего оставалось только рожицу расписать. И он действительно их раздаривал — раздаривал прямо на улицах, первым встречным людям, не обязательно детям.

Одним словом, тем первым летом Петька увлек всю дворовую ребятню — нас было человек восемь. Я выпросил у мамы розовый лак для ногтей, разбитые носы кукол были тщательно реставрированы и блестяли на солнце. Все лето, — а в тот год удивительное лето выпало Львову: ясное, синеглазое, с воздушными облачками над Высоким Замком, — наш дворовый театр с утра до вечера с энтузиазмом репетировал и представлял комедии и сказки собственного сочинения. И как подумаю сегодня: нелюдимый, явно «проблемный» восьмилетний мальчик стал одновременно основателем, режиссером, художником и артистом пусть небольшого, но творческого коллектива, с поистине моцартовским даром сочиняя тексты и мизансцены, терпеливо натаскивая тех, кому поручал куклу, заставляя безалаберных артистов снова и снова повторять движения и слова роли или «делать оркестр»: дудеть в жестяные дудки и губные гармошки, греметь погремушками и бить в бубен.

Эта всеобщая увлеченность произвела такое впечатление на взрослых, что отец Гульки дядя Рустам, милиционер, отправился в слесарно-столярную мастерскую, за начальством которой числился какой-то грешок, и, то ли путем шантажа, то ли как-то еще воздействовав на директора, заставил сделать ширму для нашего театра. Роскошную раскладную ширму с настоящими дверными петлями! Все четыре ее створки мама обтянула сизой подкладочной тканью из дедовых портновских запасов, а из старой гобеленовой скатерти был сшит настоящий *фартук* — тот, что вешается на ширму перед зрителем: по зеленому полю пузырились бокастые желтые груши, будто минуту назад снятые с дерева бережной рукою пана Станислава.

А ведь где-то она валяется в сарае — там, во дворе нашего давно покинутого львовского дома...

Словом, я все же затеял с ним тот тяжелый разговор, пытаюсь что-то промямлить о «нехорошем гене»; даже название выдавил...

Мы сидели в кавярне на Армянской, где кофе варили в турках на раскаленном песке. Над узкими горлышками вспухала пенка, пузырясь по бокам турки, если сбегала, так что в крошечном помещении витал божественный аромат. За окном хлестал дождь; по блестящей кубической, волнистой от рытвин «брукивке» мостовой, сливаясь по обочинам, бежали ручьи, а над пупырчатыми лужами плыли, покручиваясь в руках у прохожих, цветные зонты.

На этой узкой и ободранной, но живой и прекрасной улице, выдавшей и аппетитные драки, и надрывные страсти, всегда ошивалась львовская художественная богема. Я и сам однажды отбивал там кулаками у художника Трофименки свою Майю, тогда еще даже не невесту; в те годы олени бои мне казались действенным средством завоевания женского сердца.

И вот, сидя за обшарпанным столиком, в ожидании своей «филижанки кавы»...

Нет, все же о кавярне на Армянской надо подробнее! Надо бы найти особенные слова, — ведь в пряно-охристом воздухе этого неприглядного помещения остался витать лохматый призрак нашей юности, наше кофейное братство.

Не знаю, кем и когда рождена была легенда, что кофе на Армянской — это лучший кофе в мире. Чужим там вполне могли подать порядочное пойло. Просто чужие-то почти и не забредали — не слишком очарова-

46 тельное было место: сесть практически негде, десерта никакого... Да и сама эта улочка, со своим, замечательных, конечно, пропорций, но таким облупленным храмом... Почему же Армянская у нас котировалась выше всех прочих мест в городе?

Здесь можно было застать того, чей адрес и телефон давно потерял, здесь оставляли друг для друга передачки, документы и записки. «Я оставлю для тебя на Армянской», — привычная фраза, оброненная на бегу, выкрикнутая из окна трамвая, шепотом сказанная в «читалке» института...

Там посменно работали две женщины: Лариса и Надя. Надя — этакая мамашка в теле, с плавными сдержанными движениями, — никогда не варила плохого кофе: вероятно, рука не поднималась. Она мало кого привечала, но кофе, который готовила, назывался «как всегда», — тетка понимала в ритуале. Вторая, Лариса, — та была королева: крахмальный фартучек, макияж, манеры — залюбуешься! Королева могла заварить кофейку и по второму разу, «на второй воде» — если кто не приглянулся.

В процедуре приготовления кофе был момент соучастия: тебе готовили турочку, показывали — где твоя, и ты уже был при деле: вскакивал из-за столика и двигал ее в песке, следя за тем, чтоб пеночка поднялась, но не перелилась: она должна была подняться раза три-четыре.

И, глядя, как плавно по песку жаровни двигает Надежда упряжки металлических турок в своих полных руках, напоминая этим церковного органиста, Петька задумчиво переспросил:

— «Синдром... Петрушки», ты сказал?... — и вдруг рассмеялся: — Так это мне и подходит. Я ж и сам — Петрушка!

В то время он был увлечен историей русского уличного балагана, много читал о нем, разыскивал воспоминания стариков о представлявших «по дворам» бродячих кукольниках начала века, сам вытачивал пищики и даже писал скабрёзные тексты — ужасно смешные и острые — для каких-то будущих «дворовых сцен», которые надеялся поставить.

Часами он мог рассказывать, какие сорта дерева идут на ту или другую деталь куклы, и как по виду древесины можно определить, откуда кукла родом, и какое значение имеет направление среза дерева, не говоря уже о значении таких *сезонных кондиций*, как влажность, например. Я прилежно выслушивал всю эту муру и скукотищу, потому что самым интересным в эти моменты были его лицо и руки.

Во Львов он приезжал уже из Питера, где учился в ЛГИТМиКе; приезжал часто — ради Лизы, конечно, — но и не только: либеральный директор центрального Дворца пионеров дал ему возможность поставить первый его спектакль по известной сказке «Журавль и цапля».

Помню и сейчас этот спектакль довольно подробно.

Он работал на столе с тремя парами кукол, которых сделал сам по собственным эскизам. Первая пара кукол — совсем юные и трогательные журавль и очаровательная цапля, — влюбившись, ходили друг к другу через болото свататься, да никак не могли поладить... Вторая пара была уже «в возрасте»: поседелый журавль в пенсне, с решительным намерением устроить семейную жизнь, по-прежнему навевался к молодой кокетке-цапле... и опять они ссорились и никак не могли уступить друг другу. И, наконец, третья пара кукол: неузнаваемый, с толстенным, будто разбухшим клювом старик-журавль и глупая подслеповатая

48 старуха-цапля, которые все предъявляли друг другу вздорные претензии, от слабости едва держась на ногах...

Ноги кукол, через которые он решил весь спектакль, были удивительными: сложно-суставчатые, какие-то бесконечные, они потрясающе работали на образ — складывались, шаркали, жестикулировали, пританцовывали... Признаваясь в любви, долговязый журавль становился на одно колено... Ноги пребывали в бесконечном движении, они были ошеломляюще живыми, они были — главными. Петька ни на секунду не бросал их, перебегая от одной куклы к другой, паря над столом, нависая и в то же время умудряясь оставаться почти невидимым в полутьме. В финале спектакля обе куклы просто тихо опускались на стол, опираясь друг о дружку поникшими головами... Тогда он уходил в темноту, покидал их. А на столе, в освещенном круге, оставались два поникших в тишине старика: ожидание конца в безнадежном отсутствии создателя.

То был единственный случай (помимо детских дворовых спектаклей), когда он пытался запрячь меня в дело — меня, в то время здорового лося, студента Львовского мединститута, истекающего всеми соками в страстной мечте о красотке Майе.

Отказать ему я не смог, я никогда не мог противиться его деспотическому нажиму; и хотя был погребен под завалами очередной сессии, а также писал любовную новеллу в письмах (которая, кстати, год спустя была опубликована в альманахе «Звездная россыпь»), я покорно притаскивался на репетиции и старательно подавал густым басом вой ветра и карканье ворон, на фоне которых должны были звучать голоса двух кукол.

Музыкальное сопровождение — вальс «Амурские волны» — предоставляла нам концертмейстер Дворца пионеров Алевтина Юрьевна. До сих пор перед глазами: слегка осев на левый бок, она упоенно разваливает щедрый аккордеон с мечтательной улыбкой на размазанных губах...

Драма, весьма для меня поучительная, встряслась как раз на премьере.

Свалив накануне тяжелый экзамен, я пошел с ребятами отметить благополучное отпущение грехов и прилично накачался холодным пивом. С утра еще как-то хрипел, к началу спектакля явился вовремя, откашливался, отхаркивался, готовился *прозвучать*... но едва заструилась лирическая музыка аккордеона, едва слабый рассветный луч стал ощупывать стол, то есть болото с камышами... едва только на столе возникли Журавль и Цапля, — я ощутил, что у меня совершенно пропал голос. Напрасно я пасть разевал: оттуда могла появиться лишь пивная пена.

Звукооператор Слава примчался за кулису с микрофоном, который я судорожно схватил, но и микрофон не помог. Опытная Алевтина Юрьевна приналегла, развернула амурскую волну-мурлыку... Короче, Петька выкрутился, конечно; я вообще не понимал, зачем ему нужны какие-то спецэффекты за кадром, если по тексту и по действию пьесы и так все ясно. Но, чувствуя себя ужасно виноватым, — как только зритель стал расходиться, а Петька принялся складывать реквизит, — я приполз к нему, как побитая собака.

— Петруха... — прошипел я. — Ну прости... Я ж не нарочно... В следующий раз, вот увидишь...

Он резко поднял голову, ошпарив меня ненавидящим взглядом, и проговорил холодно, спокойно, с диким презрением:

— Идиот... Спектакль бывает только один раз.

Перечитал написанное... Как пунктирно, как бес-толково я пишу — будто петляющий заяц в поле. Между тем так ясно помню металлический круглый стол, «филижаночку кавы» на нем, неяркий дневной свет на бурых кирпичах стены и эту магазинную куклу в его руке: матерчатое тело, резиновые ноги-руки, лысая голова...

Он нашел ее на помойке, отмыл, вылечил, вставил в пустые глазницы карие стеклянные глаза и повсюду с собой таскал. Называл «Сироткой». Посадив на колени или на стол, осторожно держа за шейку указательным и большим пальцами, поводил ее головой туда и сюда, и резиновые ножки-ручки тоже совершали какие-то мелкие, очень естественные трогательные движения. Младенец двигался под его пальцами, с любопытством заглядывая в чашку; оборачивался, доверчиво ища одобрительный взгляд «отца», и при этом постоянно менялся в лице. Магазинная штамповка становилась волшебной живой в его гениальной руке, даже когда оставалась неподвижной, — это и было самым поразительным.

Впрочем, точно так же оживлял он и разные предметы: мою кепку, Лизину перчатку, забытую на стуле шаль пани Дрыбци-маленькой, даже электрический шнур от настольной лампы, — каким-то сумасшедшим чутьем извлекая из них «настроение». Это всегда была импровизация: лирическая или гротесковая. Он уверял, что искусство оживления кукол по природе своей может быть только трагикомичным.

Из движения рождается история, говорил он; из жеста рождается жизнь...

— Я и сам — Петрушка, — повторил он, и магазинная кукла смешно поднялась с его колена, потянулась

вверх и прильнула щекой к его сердцу, будто соглашалась...

Черт сидел тогда на его остром плече и неслышно посмеивался!

* * *

Странно: поймал себя на желании описывать наши встречи, разговоры и всю нашу жизнь в прошедшем времени — а ведь дурная, поди, примета? Да и к чему? Не знаю: пронзительная невозвратность глаголов прошедшего времени чрезвычайно к нему идет, — к его искусству, его страсти, его странности, к его сумрачной и ожесточенной преданности Лизе, да и вообще — ко всей его, едва ли не пограничной, личности.

Несуразный во всем, он не однажды меня огорчивал: например, я знал, что его обычное косноязычие исчезает с первым же появлением в разговоре кукольной темы.

Тут с ним происходил ряд поразительных, чуть ли не физиологических превращений: язык начинал иначе двигаться во рту, будто некто разом снимал с него заклятие. Его скованные руки обретали невозможную до того, летучую и лукавую свободу, хотя за столом в гостях он мог не удержать тонкой чашки в пальцах — в тех же пальцах, которые творили чудеса, когда становились *частью куклы*. К этому я, пожалуй, привык еще с детства, с нашего дворового театра. Но как же я был потрясен, получив — впервые и единственный раз в жизни, лет пять назад, — письмо от него с Сахалина, куда он уехал хоронить маму.

В ту зиму на остров то и дело обрушивались небывалые метели, и аэропорт по нескольку дней стоял закрытым... Видимо, его одолевала там особенная тоска,

52 если вдруг он принялся за это письмо. Мое же потрясение, когда я приступил к чтению этих страниц (он накалал их двенадцать, мелко, от руки), передать трудно. Натужный и кокетливый графоман во мне вспыхнул, ахнул и поник в самом начале описания метели...

Где-то я храню эти исписанные листки, в одном из картонных ящичков, разобрать которые после переезда от Майи нет сил.

Здорово там, в письме, — о синих всплесках молнии на страницах раскрытой книги и о сыне, что *родился со смехом на лице и отказался носить его всю жизнь...*

Нет, уже не помню наизусть. А стоило бы его перечесть, чтоб окончательно увериться в тотальной талантливости художника, если уж при рождении ему выдан небесами алмаз с зачарованными гранями, в каждую из которых можно смотреться до бесконечности... Вот тогда я впервые ощутил масштаб его личности и его воображения, могучую волю к постоянному созиданию своего магического мира.

В самом деле: надо бы раскопать это письмо, и жаль, что нельзя показать его Лизе; там о ней несколько страниц — душераздирающих... Впрочем, вряд ли это изменило бы главное: ту вражду и надлом, ту ненавистническую ее привязанность к нему, которые на фоне его несокрушимой безнадежной любви пылают только ярче и больнее.

* * *

В начале ее болезни мне хотелось разобраться в причинах, в истоках несчастья. Да, смерть единственного, пусть и больного ребенка, конечно, может повлиять на психику женщины. Однако в тот раз она довольно быстро пошла на поправку, и весь фон болезни

был так понятен по-человечески. Выздоровливая, волновалась: как там Петя один, что будет с их знаменитым номером, стремилась скорее вернуться... И когда он приехал ее забирать в тот первый раз, она была в абсолютном порядке. Так и влетела в его раскрытые объятия, а он, сжимая ее, как-то странно ощупывая ее плечи и спину, воскликнул:

— Точно! Как я все точно наизусть сосканировал! Лиза, ты увидишь, что я сделал — это гениально!

А через полгода я оказался у них в Праге; приехал в сентябре, как раз на день его рождения.

Однажды я спросил его:

— Почему — Прага?

Он посмотрел на меня с недоумением: мол, как же можно не понимать таких очевидных вещей? Сказал:

— Потому что Прага — самый грандиозный в мире кукольный театр. Здесь по три привидения на каждый дом. Один только серебряный нос Тихо Браге чего стоит.

— Или всерекламный Голем? — подхватил я.

— Голема не тронь, — возразил он. — Голем — чистая правда... Но главное: ты обратил внимание, что дома здесь выстроены по принципу расставленной ширмы, многоплоскостной? Каждая плоскость — фасад дома, только цвет иной и другие куклы развешаны. И все готово к началу действия в ожидании Кукольника...

Незадолго до моего приезда они перебрались в свое симпатичное, хотя и несуразное жилье на Малой Стране, прямо под Градчанами, на улице Вальдштейнской — напротив станции метро «Малостранская».

Это были две комнаты на первом этаже очень старого, милого и неухоженного дома. Дверь выходила пря-

54 мо в общий двор — прямоугольный, ладный, уютно-сельский, замощенный сланцевой щебенкой, сквозь которую весной и летом пробивалась острая зеленая трава. Петька уверял, что исстари в здании размещались дворцовые конюшни. Впрочем, как и полагается истинно пражскому дому, этот имел над деревянными воротами свой знак: расписанный медальон, где тонконогий барашек — отрешенный агнец с человеческим лицом, — подвернув тонкую ножку, лежал посреди лужка. Потому и дом назывался «У чернехо беранка». Петька предлагал сравнить их «портреты» и убедиться в чрезвычайном сходстве «хозяина и жильца». И если взглядеться, приходилось признать, что кое-какое сходство — в отрешенных глазах и мосластых скулах — имеется.

И сама квартира была забавной. Одна из комнат, очень большая, служила им и кухней, и столовой, и мастерской: просторное, чуть не во всю стену, окно-дверь выходило в их персональный — узкой ленточкой — дворик, прямо на монастырскую стену буро-красного кирпича, охваченную той осенью пунцовым гофрированным плющом, цветом в точности повторяющим волосы Лизы. Из-за этого двойного пожара — по обеим сторонам забранного решеткой окна — скудно обставленная беленая комната с развешанной по стенам армией кукол выглядела нарядно, *голосисто* и весело...

Вот только в хозяевах я не чувствовал никакого веселья.

Это было весьма странное застолье. Из подвала неизвестно какого замка Петька извлек старый циклопический — как взлетно-посадочная полоса — деревянный стол. Он занимал едва ли не половину мастерской

и был почти целиком завален инструментами и материалами для работы, коробками с частями кукол, заготовками...

Для праздничного застолья была расчищена на нем небольшая поляна, вокруг которой сгрудились мы трое, а также — тут я пытаюсь подобрать правильные слова — этот *андроид*: гениально сработанная им, очаровательная, ужасная кукла Эллис, копия Лизы. Копия точная до оторопи; настолько точная, что делалось страшно.

Вероятно, я должен сначала описать тот, старый их номер, который покорял всех, едва на сцену выходил Петька с большим ящиком на спине. Он сгружал его на пол, торжественно снимал крышку и вынимал негнущуюся Лизу. Та играла куклу, и играла удивительно: глядя на застывшую улыбку, неподвижные глаза и прямые, как палки, руки и ноги, невозможно было поверить, что это — теплое, очень гибкое женское тело...

Далее начиналось: Петька пытался с «куклой» танцевать, та падала — валилась на бок, оставаясь прямой, как трость; он подхватывал ее в последнюю секунду и крутил, и «случайно» ронял на голову, и носил, как бревно, под мышкой... — там был целый каскад остроумных мизансцен... Наконец, прислонив Лизу к стенке, он пускался в шаманский танец вокруг нее, пытаясь «расколдовать» куклу: по очереди вытаскивал из коробки несколько своих созданий — причудливых, мгновенно оживающих, едва он брался за вагу или продевал руку в балахон, — и те приглашали новую куклу очнуться, растаять, тоже *начать жить*... Марионетки взбирались к ней на плечи, совершая невероятные трюки, на которые он такой мастер...

В общем, это был ослепительный каскадный номер, в конце которого «кукла Лиза» вдруг «оживала» под изумленные аплодисменты: видимо, изрядная часть публики до конца не была уверена, что та — живая актриса. И тогда... вступали первые аккорды «Минорного свинга» Джанго Рейнхардта, и Петька с Лизой танцевали тот завораживающий, поставленный им самим, пленительно-эротичный танец — нечто среднее между танго, ламбадой и чем-то еще, — который приводил публику в исступление.

Они танцевали не просто изумительно чисто, не просто филигранно-отточенно. Их танец имел грандиозный успех потому, что зритель остро чувствовал в нем ту потаенную интимную синхронность, ту отзывчивость движений двоих, которую невозможно достичь никакими репетициями и которая возникает лишь у многолетней пары.

Но тогда, — думаю я, — как же он достиг подобной синхронности с Элис, с бездушной куклой? И не к этой ли изощренной отзывчивости партнеров в «танце-перевертыше» ревновала его, так страшно страдая, Лиза?

Словом, это был номер высокого класса, который, кстати, их прилично кормил.

Они постоянно выступали, Петька даже ушел из театра, из которого, впрочем, давно порывался уйти: у них гастроли были расписаны на три года вперед. Забеременев, Лиза утягивалась и продолжала выступать, и выступала чуть ли не до самых родов... Ну а потом им стало не до выступлений.

Моя незабвенная бабуся слов на ветер не бросала никогда.

И пока я лечил Лизу в клинике «Кфар-Шауль», Петька метался, как безумный, в поисках кого-то, кто мог заменить ее на сцене.

Ничего не выходило: номер был сделан для Лизы и на Лизу, на ее миниатюрный рост и нереально малый вес. Девочки-подростки из детских танцевальных ансамблей, куда он немедленно кинулся, справиться с ролью не могли; среди взрослых артисток таких, кто поместился бы в коробку, просто не было...

И тогда в его голову — в недобрый час! — пришла идея «создать другую Лизу»: сделать перевертыш, номер — наоборот, одушевить куклу до такой степени, чтобы ни у кого из зрителей не возникло сомнения в ее человеческой природе.

Не знаю подробностей изготовления этого чуда — я был слишком далеко, а когда он звонил, его интересовала только Лиза и ее здоровье. Но из скупой оброченных слов я понял, что в основном он делал куклу сам, с помощью знакомого механика, из какого-то, выписанного из Америки, новейшего, удобного в обработке материала, по текстуре похожего на дерево, но гораздо более легкого. Главное, там была уникальная смешанная механика, которую они разрабатывали много недель.

Честно говоря, я представлял себе нечто подобное всем его куклам — смешным, теплым, причудливым созданиям (да он и не любил механических приспособлений, считая, что куклу оживляет мастерство артиста), — поэтому так обалдел в аэропорту, куда он не поленился приволоочь для меня этот... сюрприз. Я увидел их двоих возле колонны в зале прилета, увидел, как *Лиза* машет мне приветственно рукой, устремился к ним и... да, это был изрядный шок! А Петька хохотал, как дьявол, не отпуская куклу, прижимая ее к себе: у той под мышкой был один из множества рычажков —

58 или бог знает чего еще, — ответственный за горизонтальные и вертикальные движения головы, отчего она поводила туда-сюда головой на стройной шейке и кивала с Лизиным выражением лица, будто внимательно прислушивалась к нашим репликам...

* * *

И вот мы сидели за накрытым столом в новом их, очень пражском пристанище...

По комнатам ковылял, стуча деревянным протезом, Карагёз¹ — замечательно ласковый, лохматый песик, трехлапый инвалид, которого Петька спас и вылечил, и смастерил ему недостающую конечность. (И это тоже было причиной раздора: Лиза считала, что Карагёз отлично бегает и так; Петька настаивал, что если собаке положено иметь четыре точки опоры, то отсутствующую четвертую необходимо соорудить.)

Мы никак не могли поднять первый тост, на столе все время чего-то не доставало: что-то забылось в холодильнике, куда-то запропастился штопор... и только кукла Эллис невозмутимо сидела, улыбаясь совершенно Лизиной зачарованной улыбкой.

Я уже тогда подумал: что за идиотские шутки? Зачем сажать куклу с нами за стол? Но Петька был так горд своим творением (он совсем недавно поставил с ней и вправду потрясающий номер, о котором впоследствии с восторгом писала пресса во многих странах), посматривал на куклу, явно любясь работой, и раза три, забывая, что уже спрашивал меня, восклицал:

— Ну, правда, она прелесть?

Ему хотелось, чтобы все смотрели на Эллис, все ею

1 Карагёз — традиционный герой турецкого теневого театра.

любовались. Он говорил и говорил, не умолкая, о куклах японского театра Бунраку, которые, с точки зрения европейца, грубо натуралистичны, зато на сцене демонстрируют невероятное напряжение действия, какого европейский театр кукол достичь не в состоянии. Вспоминал какого-то Антиоха III Великого, царя Селевкидов, при дворе которого куклы правили бал, и это, мол, были сложнейшие механизмы, сделанные так искусно, что создавалась иллюзия полного жизнеподобия; причем этот самый Антиох даже брал у комедиантов уроки кукловодства, пока не достиг в профессии необычайных высот, и сам переодевал своих огромных кукол, украшая их золотом и драгоценными камнями... короче, наверняка был законченным моим пациентом.

Время от времени, как бы случайно наклонившись за упавшим ножом или невзначай пройдя мимо Эллис, Петька незаметно нажимал какой-то там рычажок или кнопку, и проклятая кукла издавала благостный причмокивающий звук или томно поводила головой... Я, честно говоря, вздрагивал от неожиданности, мне было просто очень неуютно, но вот Лиза...

Уже тогда надо было обратить внимание на ее состояние: болезненно блестящие глаза и тихая отчаянная улыбка.

Вдруг она спросила:

— Боря, тебе тоже нравится это чудесное раздвоение?

Я замаялся и горячо стал восхвалять мастерство, с которым кукла сделана.

— Но ведь я — лучше, правда? — перебила она, чуть ли не умоляюще. — Я ведь живая. Что он в ней нашел?

И Петька — видно было, что тема уже не раз обсуждалась, так как аргументы не подбирались, а выпаливались горячо обоими, — сказал:

60 — Сравнить может только идиот, понимаешь? Тут речь об искусстве, об оживлении неживого. Ты хоть в состоянии понять, чего я достиг? В Бунраку одну куклу водят три актера, я же совершил невероятное, я...

— А знаешь, Боря, — проговорила она совершенно серьезно, не глядя на мужа и не слушая его, — я чувствую, что он позаимствовал для нее не только мою внешность, но и кое-что поважнее.

Петька, страдальчески морщась, воскликнул:

— Что?! Печенку?!

— Нет, — сказала она, кротко и лихорадочно улыбаясь. — Душу..

— Лиза, ну что за бред!!! — вспыхнул он.

Я уехал тогда от них с тяжелым сердцем... ну а месяца через полтора он уже звонил мне в Иерусалим совершенно убитый.

С того времени он удалил Эллис из дому — я потребовал этого, прежде чем отпустить Лизу назад, в Прагу. И долгое время не знал, где он хранит эту куклу, пока однажды не встретил ее — в неожиданном для меня месте...

* * *

И все же что меня сегодня так расстроило? Да, плохо, плохо он выглядит, и уже прилично поседел. Это не прежний Петька — клоун, буффон, злокудесный трикстер, с вездесущими руками, как бы живущими отдельно от остального тела, и с такими пальцами-затейниками, будто в каждом не три, а четыре фаланги, и последняя бескостна и всепроникающа; с этой фантастической способностью чрево вещать, причем любыми голосами, особенно томно — женскими, и так,

словно источник звука расположен где-то за его спиной, в углу комнаты или даже за окном.

Однажды ночью, возвращаясь от Лизы по Академической, он разогнал целую шайку окруживших его придурков, заверещав милицейской трелью.

В другой раз, прискучив какой-то никчемной встречей, на которую я потащил его в «Шоколадный бар», он половину вечера развлекался тем, что уныло и упорно распевался — сидя тут же на стуле, но звуча где-то в отдалении колоратурным сопрано, — сначала на «а-а-а-а», потом на остальные гласные... пока наш собеседник не потерял терпения и не воскликнул:

— Я придушил бы эту студентку вокала!

Когда он приезжает за ней — заранее отвергнутый униженный палач, — нам даже и поговорить с ним толком не удастся. Уж такое место для него больное — Иерусалим. Означает разлуку, ее болезнь, ее вражду и бесконечную его тоску... Ей-богу, для нормального общения с ним необходимо в Прагу лететь. И надо бы... Говорят, в этом году в Европе зачарованно-снежная зима. Вот взять у психов пару дней отпуска и махнуть. Сколько я не был в Праге? Года два, пожалуй.

...Ну, хорош на сегодня, доктор. Сворачивай свой манускрипт, выключай компьютер, вали домой. Да прими снотворное, чтоб не крутить перед закрытыми глазами один и тот же кадр: как идут они к воротам, эти двое, — она впереди, он за ней; ни дать ни взять трепетная жертва под конвоем Синей Бороды.

И только я один все пытаюсь понять, кто из этих двоих — жертва».

62 Глава третья

— Вон Сильва, — сказала Лиза. — В ушанке. У транспортера.

Ничего здесь не изменилось за последние полтора десятка лет: в зале прилета неторопливой речкой текла багажная лента, тут же леваки сновали, приглашали добраться с ветерком хоть до Самары, хоть до Тольятти.

В плотном сизом воздухе, сбитом из табачного дыма и выхлопов самолетных двигателей, стоял высокий нездешний Сильва — оперной красоты мужик — и через головы кричал им:

— Что?! Цвет! Какой чемоданный цвет, говорю?! — и руками размахивал, точно собирался сгрести с багажной ленты все чемоданы рейса, на всякий случай. И мог бы: в нем клокотала необоримая порывистая энергия всеобъемлющего распорядителя.

— Ты погоди, Сильва, — сказал Петя, подходя. — Не гони волну. Там один рюкзак только. А Лизин вот, у меня.

Сильва тут же переключился на Лизу, сграбастал ее, для чего даже присел, и заплакал мгновенно и легко, как-то по-женски, не стесняясь. Послал же бог такое бурное сердце...

— Все, Лиза, все... бросила нас Висенька...

Сильва Жузеппович Морелли (именно так) был сыном черноглазой вертихвостки из итальянской дипмиссии, эвакуированной в Куйбышев в годы Великой Отечественной войны.

Родив здесь Сильву от повара миссии, та вскоре, совершив немислимый карьерный кульбит, выскочила замуж за помощника консула и укатила с новым мужем в Милан, забыв прихватить сына с собой. Красавец пар-

нишка был пристроен в местный детский дом, вскоре начисто забыл итальянский, окончил школу и всю жизнь проработал в стройтресте. Он считал себя настоящим русским, хотя, случалось — жизнь-то, она всякая, — страдал и за армян, и за жидов, и даже за цыган; и хотя Лизина тетка все гнала его в Москву, в посольство — искать правду на склоне лет, — тот упирался и никаких шагов по розыску итальянских родственников не предпринимал. С теткой они крепко дружили, так что эти слезы были и искренни, и трогательны.

— Вот так, — приговаривал он, утирая голубым платком свежевыбритое лицо оперного тенора. — Вот так-то... В один присест, Лизонька, твоя тетя скончалась... Говорила по телефону да так с телефоном и упала. А я...

— Рюкзак приехал, — сказала Лиза, и Сильва, расталкивая пассажиров, ринулся к ленте сволоакивать пузатый высокий Петин рюкзак, из тех, с каким матерые туристы ходят в многодневные походы.

На развилке Московского шоссе Сильва притормозил и спросил с внезапным азартом:

— Поехали старой дорогой, а? Чехоньки вяленой купим... Я там у Виси пивка в холодильник забил, а как с чехонькой, будет самое то!

— Езжай как знаешь, — сказал Петя.

— Старой, старой! — энергично закивал Сильва. Он снял ушанку, и забубенные эстрадные кудри рассыпались по воротнику старого драпового полупальто.

— Намотаем еще с десяток кэмэ, зато берег Волги увидите, церквушка там красавица на Царевщине, ну и чехоньку на рынке прихватим... Ты в прошлый раз-то видал — у нас на Царевом кургане памятный крест установили? Лиза, слышь? Памятный крест шас увидим...

Лиза сидела за его спиной, молча разглядывая унылые, заваленные снегом поля, и дачные массивы, да рекламные щиты вдоль дороги, предлагавшие совершенно ненужные в человеческом быту вещи: какой-то пропилен, минеральные удобрения, асфальтоукладочные катки...

— Я говорю, слышь... — Сильва поднял глаза, пытаясь в зеркальце заднего обзора отыскать ответный Лизин взгляд. — Вот смерть, да? Она ж тютелька в тютельку в день рождения своего померла. Гостей назвала! Два дня у плиты варила-жарила... А тут хотела с подружкой поболтать, два слова буквально сказала... брык — и аминь! Холодильник был забит жратвой — ореха некуда вкатить. И студень, и винегрет, и мясо тушеное, и куры жареные... Не поверишь: мы ее же студнем ее и поминали!

Слезы опять заструились по его крупному носу римского сенатора; он их смахивал рукой в вязаной черной перчатке с дырочкой на указательном пальце.

— Все, все... — повторял, всхлипывая. — Больше не буду. Не привык еще...

Петя отвернулся к окну. Там, под глухим белесым небом гипсовыми заготовками тянулись головы, плечи, груди, прочие окружности и части гигантских продолговатых тел — пространства навеки застывшего снега. Отвернулся, чтобы Сильва не увидел его лица. Ничего с этим лицом не мог поделать: он был совершенно и беззащитно счастлив...

...и сейчас продолжал лелеять в себе их утреннее пробуждение — там, в Эйлате. Это было вчера, сто лет назад, и много воды утекло с той минуты, как его разбудил хрипловатый заспанный ее голос:

— Что там, солнце?

Он открыл глаза и обнаружил, что ее голова лежит у него на груди, и сквозь багряный взрыв ее волос гардины цвета абрикоса кажутся бледно-розовыми... Пульсирующим чутьем понял, что она *вернулась, вернулась...* и несколько минут не шевелился, плавая в истоме невыразимого счастья. Она тоже лежала тихо, помыкивая какой-то смурной мотивчик, то и дело прокашливаясь, — тогда тяжесть ее головы мягко пружинила у него на груди.

Снизу доносились шлепки по воде в бассейне, вскипал восторженный детский визг, взрывалась глухими пулеметными очередями газонокосилка на травяном склоне, а в паузах всхлипывала с набережной плаксивая восточная мелодия.

Для начала он осторожно проиграл пальцами нежный матчиш по ее спине в пижамной куртке. Пижамы была им куплена перед самым отъездом в детском отделе «С&А» на Вацлавской площади: красные улыбочивые рыбки по нежно-бирюзовому полю (значит, поднималась ночью? она всегда так бесшумна, всегда умеет на ощупь вытянуть из сумки, рюкзака, чемодана обновку и главное — чувствует ее, как разведчик с лозой чувствует близкую воду)... Затем предпринял вылазку посмелей: соорудил из ладони большую влюбленную рыбину, и та довольно долго опасливо плескалась в районе пижамной курточки, пугливо взлетая и зависая при малейшем движении; наконец, нырнула в глубину под одеяло, обожглась там о горячее тело (пижамный низ, видимо, ночью не был найден), вздрогнула и прикинулась дохлой.

Лиза лежала якобы безучастно, прикрыв глаза, едва заметно елозя щекой по его груди. Вдруг, отшвырнув одеяло, вскочила на колени, открывшись сразу вся, в распахнутой стае красных рыбок, с одной, скользнув-

66 шей вниз, заветной огненной рыбкой, что ослепляла его всегда, даже в полутьме; больно уперлась обоими кулаками в его грудь, и дальше они уже поплыли вместе... согласными подводными толчками и плавными поворотами, и взмывами, и медленными зависаниями; и внезапной бурной погоней друг за другом в бесконечном лабиринте кораллового света, в шатре ее волос, задыхаясь, захлебываясь, вновь погружаясь в темную влажную глубину и всплывая к поверхности, проплывая друг над другом в тяжелом литье медленных волн, и его слепые губы все не верили, и доказывали себе, и не верили, что это ее плечи, ее плечи, ее шея, ее губы, ее плечи... пока наконец их не вынесло на берег, и они очнулись в луже абрикосового солнца, бурлящего свои потоки сквозь занавеси прямо на огромную, истерзанную штормом кровать...

...Слава богу, на сей раз обошлось без этих ужасных: «Иди, трахай свою мертвячку!», или того похуже: «А ты за нитку потяни, может, я ноги и раздвину...»

Она четко проговорила:

— Все равно я тебя ненавижу, я тебя брошу, купальник купим?

Он ответил:

— Всё. Купим всё вокруг, мое безумное счастье, счастье...

— Вот только без этих штучек, зараза! — Она сморщилась, поднесла к его носу указательный палец, словно целилась: — Ты мне никто, понял, никто! Как там Карагёз?

— Шкандыбает помаленьку. — Он лежал и улыбался в потолок. — Тонде его оставил. Как обычно.